

Лидия
Червинская

На бальной площади Согласья

Стихотворения. Проза

Ad Marginem

Лидия Червинская

**На бальной площади Согласья.
Стихотворения. Проза**

«Ад Маргинем Пресс»

1934-1956

УДК 821.161.1-1
ББК 84(4Фра)6-44

Червинская Л. Д.

На бальной площади Согласья. Стихотворения. Проза /
Л. Д. Червинская — «Ад Маргинем Пресс», 1934-1956

ISBN 978-5-908105-36-1

Документ эпохи и исповедь сердца: трагическая судьба поэтессы русского
Парижа.

УДК 821.161.1-1
ББК 84(4Фра)6-44

ISBN 978-5-908105-36-1

© Червинская Л. Д., 1934-1956
© Ад Маргинем Пресс, 1934-1956

Содержание

Предисловие	7
Стихотворения	13
Приближения	13
Рассветы	23
«Над узкой улицей серея...»	26
«Не согласны. Ни за что...»	28
«...Но так похоже на блаженство...»	29
«Жизнь права как будто. До свиданья...»	32
«Одно осталось: удивленье...»	34
Двенадцать месяцев	35
Январь	35
Февраль	38
Март	40
«На кладбище уже почти весна...»	42
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Лидия Червинская
На бальной площади Согласья
Стихотворения. Проза

© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2026

* * *



Предисловие

*Когда-то были воля – и тюрьма,
мы, жившие по праву на свободе —
преступники, сидевшие в тюрьме...
Когда-то были лето – и зима...
Смешалось всё давным-давно в природе,
сместилось в жизни, спуталось в уме.
Не разобрать – кто беден, кто богат,
кто перед кем и кто в чем виноват,
и вообще, что значит преступление?..*

«Когда-то были мы – и бедняки...» / Л. Червинская. Двенадцать месяцев (Январь). Париж, 1956

Перед вами строчки из стихотворения, которое Лидия Червинская (1906–1988) включила в свой сборник «Двенадцать месяцев» (Париж, 1956), оказавшийся итоговым, хотя прожила поэтесса еще немало. Владислав Ходасевич, рецензируя ее более ранние сборники «Приближения» (Париж, 1934) и «Рассветы» (Париж, 1937), упрекал молодую Червинскую в сознательном отсутствии литературного мировоззрения и «интимизме» – преувеличенном художественном индивидуализме: «Поэзия преобразует действительность. Интимизм, напротив, стремится ее запечатлеть в первоначальном виде, схватить на лету, как моментальная фотография. Отсюда вообще его документальность» («Возрождение», 11.06.1937).

Вышеприведенные стихотворные строки как раз пример не поэтической метафоры, а «человеческого документа», о котором дискутировали Ходасевич и Адамович (поэтический наставник Червинской). Дело в том, что в 1944 году поэтесса угодила в тюрьму, а после и на скамью подсудимых. Это была драма из истории французского Сопротивления, лишь приблизительно известная русскоязычным читателям. О тюремном заключении Червинской есть упоминания в корреспонденции русских эмигрантов. Георгий Адамович писал Бунину из Ниццы: «Знаете ли Вы, в какую историю попала Лида? Очень за нее страшно» (20.11.1944 / *Бунин И. А.* Новые материалы. Вып. I. М., 2004. С. 41). Год спустя в своем пространном оправдательном письме за океан Нина Берберова отвергала небеспочвенные обвинения в коллаборационизме и прибавляла: «Все те, кто печатался, выступал или состоял в союзе – давно „вычищены“; они либо в тюрьме, либо в бегах, либо под бойкотом... Бедная Червинская до сих пор в тюрьме!» (письмо М. Алданову, 30.09.1945 / *Бунин И. А.* Новые материалы. Вып. II. М., 2010. С. 103).

Лидия Червинская не печаталась в профашистском «Парижском вестнике», как Сургучёв и Шмелёв, не спекулировала конфискованным у евреев антиквариатом, в чем подозревали мужа Берберовой Николая Макеева, наоборот, она участвовала в Резистансе, но с трагическими последствиями.

Об этом весьма невнятно написал Василий Яновский в мемуарной книге «Поля Елисейские», где он соперничал с Георгием Ивановым в смешении несимпатичного вымысла с неприятной правдой, увы, не сравнявшись с ним дарованием. «Червинской поручили ответственное задание, посвятили в секрет, от которого зависела жизнь двух десятков детей. Тут вся ошибка не ее, а тех – вождей, руководителей. Поручать Червинской ответственные, практические поручения – явное безумие!» (*Яновский В.* Поля Елисейские. Нью-Йорк, 1983. С. 236–237; о каких детях идет речь, см. ниже.)

Гораздо точнее обрисовал «случай Червинской» юрист, еврейский общественный деятель и масон Яков Рабинович. В конце 1950-х годов он подарил Университетской библиотеке Иерусалима часть своей библиотеки. Среди других книг были «Двенадцать месяцев» с таким инскриптом Рабиновича: «Талантлива. Сыграла зловещую роль в жизни русского и еврейского Резистанса. Кривошеин и его арест, арест 13 – Амар и т. д. – я избег чудом – 6 вернулись в nuit 1944 г. Жила с Шарлем – двойным агентом – в порядке задания Соппротивления, но влюбилась и проболталась. Ее оправдал французский суд. Ее простил комитет русского и французского Резистанса после освобождения» (Хазан В. Из истории Национальной библиотеки в Иерусалиме // Иерусалимский журнал. 1999. № 2). Публикатор Владимир Хазан прокомментировал заметку. Русские эмигранты, в том числе Червинская, Рабинович, Игорь Кривошеин (сын врангелевского министра, позже заключенный ГУЛАГа, отец диссидента), состояли в Резистансе; многие были арестованы в июне 1944 года, части из них – Андре Амару и другим – удалось бежать из поезда; остальных отправили в концлагеря. Идентифицируя «Шарля», Хазан обмолвился, назвав его Шарлем Ледерманом, участником Соппротивления, известным коммунистом, адвокатом и сенатором.

Рабинович же имел в виду «Шарля Пореля». В действительности его звали Карлом Рехейном, он был офицером абвера, участвовал в Гражданской войне в Испании, после оккупации Франции курировал гестапо в Перпиньяне. Под именем Шарля Пореля он внедрился в организацию «Еврейская армия», которая действовала в Париже и на юге Франции и занималась тайной переправкой евреев в нейтральную Испанию. В мае – июле 1944 года Рехейн арестовал многих членов «Еврейской армии», среди них и русских эмигрантов из группы Нерсисяна, о чем и написал Рабинович.

Яновский же, изрядно напутав, вспомнил самую громкую операцию Рехейна-Пореля. Речь идет о так называемых «мучениках водопада в Булонском лесу». Утром 17 августа 1944 года в Булонском лесу были обнаружены тела 35 французов в возрасте от 16 до 42 лет (вот откуда «дети» у Яновского), замученных и убитых гестапо. Случилась трагедия накануне Парижского восстания, и следствие началось сразу по освобождению города. Подготовка к вооруженному выступлению в Париже шла заблаговременно и велась несколькими организациями Резистанса. Одна из этих групп (д-р А. Бланш, Г. Эмери, Ж. Шлоссер, М. Бурсье – «Диана») установила контакт с неким «Александром», или «Капитаном Джеком», или Ги Маршерелем, или Глебом Лесскофом, якобы британским разведчиком, который должен был обеспечить их оружием. Связь с ним держали через «Жанну» – Сабину Цейтлин, бывшую директрису детского приюта. «Жанна» состояла в «Еврейской армии» и прятала еврейских детей до их отправки в Испанию. В свою очередь, «Жанна» связывалась с «Капитаном Джеком» с помощью пары любовников – «Катрин» (Лидии Червинской) и «Шарля Пореля». Передача оружия должна была произойти в ночь с 16 на 17 августа в заброшенном гараже Citroën у Луна-парка, но появившихся там бойцов Соппротивления арестовали гестаповцы, подвергли пыткам, расстреляли, а тела отвезли в Булонский лес. Художественным воплощением этих событий стал фильм «Горит ли Париж?» (1966, режиссер Р. Клеман), где роль двойного агента исполнил Жан-Луи Трентиньян. «Катрин» и «Шарль» тоже были арестованы, но если Карла Рехейна и след простыл, то Червинская 29 августа была заключена властями сражающейся Франции в форт Роменвиль и просидела там больше года.

В декабре 1949 года был расстрелян по приговору Ги Маршерель, арестованный в Дании. Точку в деле Червинской поставили еще позже. 20 ноября – 23 декабря 1952 года в военном трибунале Парижа состоялись судебные слушания по «делу водопада в Булонском лесу». На скамье подсудимых оказались 14 человек (бывшие французские гестаповцы и русская поэтесса). К смертной казни приговорили восьмерых, в том числе Жоржа Гвиччардини и двух его 20-летних сыновей (в итоге казнили троих из первоначально приговоренных), и вынесли

еще семь смертных приговоров заочно. Лидию Червинскую оправдали, не найдя доказательств, что она знала об истинном лице своего возлюбленного.

Дело Карла Рехейна как гражданина Германии и кадрового офицера было выведено из производства. Он был задержан британской полицией на островах в Ла-Манше, но его не судили и не экстрадировали. Позже Рехейн жил в Баварии, работал в автомастерской и сотрудничал с неонацистами.

Эти события изучены историками Сопротивления У. Мортимер-Муром («Париж–1944: искупление Города огней») и А. Райским («Еврейский выбор под властью Виши»), но они, конечно, не соотносят «Катрин» – Lydia Tscherwinska с монпарнасской поэтессой Лидией Червинской.

* * * *

Мемуаристы сохранили в памяти и позже запечатлели выразительные портреты красивой, обаятельной и «роковой» женщины:

«Стройная, черноволосая, она пришла в темно-синем платье с меховой накидкой и сразу стала центром внимания. Она была оживлена, черные выразительные глаза ее сверкали из-под длинных ресниц, но мое внимание привлек цвет ее лица. Смуглое от природы, оно имело какой-то бронзово-металлический, зеленоватый оттенок. Она подала мне руку приветливо, без жеманства. Рука была мягкая, теплая, полная женского очарования».

Морковин В. В. Воспоминания // Поэты пражского «Скита». СПб., 2007. С. 608–609

«Я ее, неудачницу, предпочитаю удачным, самодовольным. Она довольно симпатичная, только не верный человек. А если не считать этого, мне с ней приятно. Я люблю тонких и умных женщин, в них больше изюминки, чем даже в умных мужчинах».

Ида Карская (Шрайбман) – Сергею Карскому. 5.12.1939 // Вишневский А. Г. Перехваченные письма. М., 2008. С. 404

Николай Оцуп писал, что «Червинская реабилитирует... русский Монпарнас, правда – с очарованием беспритязательной бедности и монашеской верности якобы обетам искусства, но становящийся понемногу местом каких-то хлыстовских радений, где живые тени, не видящие и не слышащие ничего, кроме стихов (увы, не всегда и хороших), – окончательно отвыкают от мира и, сами погибая, губят и свою поэзию, так как нельзя поэзию боготворить» (Числа. № 10. 1934).

Корреспонденты и мемуаристы писали о неизбежных богемных пристрастиях Червинской:

«Я ее мило приняла, всё, сколько-нибудь напоминающее спиртное, поставила на стол, но этого мало для такого алкоголика».

Ида Карская (Шрайбман) – Сергею Карскому. 10.11.1939 // Вишневский А. Г. Перехваченные письма. М., 2008. С. 402

«В свои плохие дни Червинская приходила на Монпарнас в стоптанных туфлях на босу ногу, распространяя аромат эфира... Груда посуды на полу, гарсоны в угрожающих позах, а высокая, сутулая Червинская, похожая на Грету Гарбо, стоит у пустого столика, точно дожидается приговора».

Яновский В. С. Поля Елисейские. Нью-Йорк, 1983. С. 235

Быт поэтессы отличался крайней неустроенностью. Родители после эмиграции остались в Стамбуле и помогали, но этого не хватало. «Иногда ей попросту не было что есть и где спать» (Морковин В. В. Воспоминания. С. 610). Червинская сотрудничала с бедными эмигрантскими изданиями («Числа», «Круг») и подрабатывала в типографиях корректором (см. письма В. Муромцевой-Буниной и А. Гингера).

Опубликованные письма Георгия Адамовича свидетельствуют о «всяческих мизерах» Червинской и попытках друзей устроить ее судьбу: заболевании глаз, попытках компаньонства, жалобах и раздорах. «Я всё жду для Вас какого-нибудь чуда, а оно не приходит. Вы человек, которому по природе холодно в жизни, а печек вокруг Вас мало» (Г. Адамович – Л. Червинской. 10.05.1953 // Русская культура XX века на родине и в эмиграции: Имена. Проблемы. Факты. М., 2002. С. 203).

Любовь, вернее любовь-поражение, была лейтмотивом и жизни, и творчества Червинской:

«Мне всё в мире открывается в любви, не всегда и не только в личной. Я не верю в жизнь для других людей (она фальшива и бесплодна), но подозреваю о возможности жить другими людьми. <..> Любовное отражение от любви (луна – лучшее отражение солнца) является для меня оправданием этой последней – всё равно какой, счастливой или несчастной, плотской или платонической, нормальной или извращенной».

Червинская Л. Д. Ожидание // Круг: альманах. Париж, 1938. № 3; Мы // Числа. Париж, 1934. № 10

В 1930–1936 годах Червинская была замужем за поэтом Лазарем Кельбериним (1907–1975), евреем-выкрестом со странными взглядами: «Интересно, что думают поклонники Гитлера и в частности Кельберин, „дрожащий“ за него, как за рыцаря белой идеи. Это всё такая мерзость, глупость и грязь, что мутит физически – и я завидую людям, живущим где-нибудь на Цейлоне». (Г. Адамович – Ю. Фельзену. 23.08.1939 // Фельзен Ю. Собрание сочинений в 2 томах. Т. I. М., 2012. С. 36–37).

Замужество не мешало влюбчивой Червинской заводить романы; дневник Поплавского говорит о страсти двух поэтов с Монпарнаса:

«Мысленно разговаривал с Лидой по-французски (почему вдруг). „Какие у вас большие и нежные глаза, похожие на подростков детей“. И был весь овеян спокойствием, строгостью, человечностью воспоминания о ее взгляде, в мыслях о ней заснул. А сегодня увижу ее».

Поплавский Б. Собрание сочинений в 3 томах. Том III. М., 2009. С. 356; дневниковая запись 11.02.1933

«Мы мучительно полно, унизительно сладко танцевали, объяснялись и сидели в „Космосе“ и „Оазисе“, не в своем уме и дико фальшивя, я потерялся и проиграл что-то, хотя она, кажется, меня поцеловала, помню какой-то поцелуй легкий и свежий на щеке».

Там же. С. 364; дневник от 28.02.1933

«Теплый желтый свет электричества, в шуме ветра молился в полусне, чтобы Бог построил стену между мною и Лидой. Даже пьяный, тяжело пьяный от пива, в черном отчаянье не хотел сдаться почти до самого конца. В розовой вязаной кофте, широкоплечая, худая и стройная, она мне мучительно, до

муки, нравится. Когда же я наконец ушел, оторвавшись от турецких папирос и сладкого, как эфир, холода, еще ярче эта мука продолжилась на улице».

Там же. С. 371; дневник от 17.03.1933

«Счастливый, грустный день у Лиды. „Когда я стояла у стойки и думала, что вот я здесь стояла когда-то и плакала, одна, влюблена и несчастна, и всё-таки всё это было до, до того, как мне раскрылся этот страшный мир“».

Там же. С. 372; дневник от 23.03.1933

«Опять Лида, руки ее и плечи, холодные, широкие и горькие, как полынь-снег».

Там же. С. 374; дневник от 01.04.1933

«С Лидой долгое объяснение, во время которого добро и свет вырвались так тяжело и грубо на поверхность, что уничтожили жизнь».

Там же. С. 377; дневник от 05.04.1933

Долгие и временами тягостные отношения связывали Червинскую с Арнольдом Блохом (1893–1964), «человеком, не написавшим ни одной строчки, но сыгравшим в возникновении „парижской школы“ большую роль, чем многие поэты» (*Варшавский В.* Незамеченное поколение. Нью-Йорк, 1956. С. 178). Адамович уговаривал подругу: «Главное для Вас – деньги и Ноля». Червинская отвечала: «Это всё равно что сказать человеку: у вас чахотка и рак» (*Г. Адамович – Л. Червинской. 25.03.1955 / Указ. соч. С. 216*).

Настойчивые и бесплодные по большей части поиски любви увлекли Червинскую в объятия, вероятно, не только нацистских, но и большевистских спецслужб. Именно Червинская, чьи родители жили в Стамбуле, встречалась там с таинственным автором «Романа с кокаином». Много позже, в 1980-е годы, Червинская рассказывала исследователям, что под псевдонимом «М. Агеев» скрывался Марк Леви, приехавший в Стамбул из Берлина, куда он бежал из России после убийства офицера Красной армии. Червинская намекала на роман с Леви, сообщила, что он вернулся в СССР. Действительно, Леви возвратился, точнее, был выслан турецкими властями в 1942 году в связи с подозрением в подготовке покушения на немецкого посла фон Папена, тогда как рассказ об убийстве красного офицера – шпионская легенда, скорее всего. Что до любовной истории, то свидетельств ей не найдено, но, во всяком случае, Леви в письме Оцупу назвал Червинскую «замечательной» (см.: *Сорокина М., Суперфин Г.* «Был такой писатель Агеев...» // *Минувшее: Историч. альм. Вып. 16. 1994. С. 265–286; Серков А.* «Сорбоннисты» и «архивисты», или еще раз об авторстве «Романа с кокаином» // *Новое литературное обозрение. 1997. № 24. С. 260–266*).

В конце 1950-х годов друзья устроили Червинскую на радиостанцию «Свобода», что улучшило ее материальное существование. Но поэзия ушла навсегда, после издания «Двенадцати месяцев» стихов она как будто не писала. Вот строки из ее письма к литературоведу Владимиру Маркову, который спрашивал разрешения напечатать ее стихотворение в антологии эмигрантской поэзии «Modern Russian Poetry» (Indianapolis, 1967): «Спасибо за память – я так давно не пишу (стихи), что мне кажется невероятным, когда меня еще считают поэтом» (9.06.1965, Париж; РГАЛИ. Ф. 1348. Оп. 8. Ед. хр. 85). Выйдя на пенсию, Червинская вернулась из Мюнхена в Париж, где тихо доживала свой век. Обычные ее ламентации упоминают еще в 1980 году в письмах друзья и коллеги по работе на радио – Александр Бахрах и Игорь Чиннов. Умерла она в доме престарелых в Монморанси 16 июля 1988 года, а эпитафию сочинила загодя:

Пила, любила, плакала и пела...

Чей это образ – неужели мой?

Ведь мне хотелось только одного:
полезного, живого дела,
которое, как друг, сгорело бы со мной,
любимого... но не было его.
Синеют вены на руке сухой...
А жизнь без остановки пролетела,
как поезд мимо станции глухой.

Червинская Л. Д. Двенадцать месяцев (Октябрь). Париж, 1956
Константин Львов

Стихотворения

Приближения *Париж, 1934*

Лазарю Кельберину

То, что около слез. То, что около слов.
То, что между любовью и страхом конца.
То, что всеми с таким равнодушьем гонимо,
И что прячется в смутной правдивости снов,
Исчезает в знакомом овале лица,
И мелькает во взгляде – намеренно-мимо.
Вот об этом... Конечно, нам много дано.
Справедливо, что многое спросится с нас.
Что же делать, когда умирает оно —
В предрассветный, мучительный, медленный час?
Что же делать, когда на усталой земле,
Даже в счастье своем человек одинок,
И доверчиво-страстный его монолог
Растворяется в сонном и ровном тепле.

С тобой и с ним, с дождями, с тишиной,
С Парижем в марте, с комнатой ночной,
С мучительно-знакомыми словами,
Неровными, несчитанными днями,
Почти вся молодость...
Рука моя была в твоей руке,
Печаль моя была в его тоске.
Мы расстаемся. Значит, мало сил.
Он не узнал. Ты не простил.
И всё-таки благодарю судьбу
За медленную грустную борьбу,
За то, что к счастью мы сейчас не ближе,
Чем в первый март, прозрачный март, в Париже.

Неужели же всё биология,
Вся наследственность, раса и кровь,
И твои вдохновение строгие,
Только та же мужская любовь?
И земля утомленная пленница,
Для которой ничто не изменится...
...Был же март – без смущенья сиреневый —
Так по-детски надеждой богат...
Свет наивной луны над деревьями,

Городской стилизованный сад —
Вне законов, и веры, и времени
Непроверенный рай (или ад).

В мае сомненья тихи...
Знаю — и это стихи,
Чувствую — это весна,
Верю — простятся грехи
Тем, кому жалость нужна...
Дождь светло-серый опять...
Трудно бывает сказать,
Стоит ли так говорить?
Знаю, что важно понять,
Думаю — нужно любить...
Страшно сказать: навсегда...
Где-то проходят года,
Чей-то кончается век,
Тают светло, без следа,
Музыка, дождь, человек...

Это случается в звуках начальных
Песен недавно забытых,
В трудных глазах, сквозь улыбку печальных,
В белых рассветах пустых, послебальных,
В письмах, еще не раскрытых.
В книжных немного сомненьях поэта
В том, что не жить невозможно,
В тепло-морском ощущении лета —
Робкое, тщетное будто бы *это*
Всё-таки очень тревожно...

Всё-таки мы не об этом тоскуем,
Всё-таки мы не об этом молчим,
Всё-таки мы дорожим поцелуем
Самым мучительным, самым земным.
Мы говорим вдохновенно об этом
(Думая каждый о счастье своем).
...Комнату всю наполняет рассветом,
Синим таким и безмолвным ответом
Июнь за окном...
Луч зажигает прозрачную вазу,
Тонкие стебли нарциссов в воде,
Тихо и ясно становится сразу...
Где мы? Куда? — Никуда и нигде.

От зависти, от гордости, от боли,
От сложности — такая простота...
Усилие давно покорной воли,
И, дрогнув, засветилась темнота.

Я не имею для тебя ответа,
Я не имею правды для других...
Я знаю только – умирает лето,
Я знаю только – испугавшись света,
Какой-то голос (совести?) затих.

Мы на башне, мы над целым миром,
Выше не бывает ничего
И страшнее тоже не бывает.
И никто как будто и не знает,
Как мы здесь, когда и для чего?
Потушили лампы, грустно, сыро —
Нет любви, послушай, нет любви...
Знаешь что, потушим сердце тоже,
Ведь никто из *этих* не поможет,
Как ни плачь, ни падай, ни зови.

Город. Огни. Туман.
Всё-таки мы умрем.
В комнате темный диван,
Лучше побудем вдвоем.
Ты для меня поиграй
Старое что-нибудь – так...
Есть ли *там* ад или рай,
Это такой пустяк.
Это не важно сейчас...
Месяцы тихо идут,
Месяцы страх берегут,
Месяцы помнят о нас.

Я думаю, но не словами,
А грустной теплотой в груди.
Не знаю, что случилось с нами,
Но знаю, *это* позади.
И всё-таки, что это было?
...Мы, помнишь, слышали сквозь сон
Холодный, утренний, унылый,
Далекий колокольный звон.

Жизнь пройдет и тихо оборвется
В море, в неудачу, в ничего...
А пока – так близко – сердце бьется
И не слышит сердца моего.
Жизнь пройдет, но это безразлично —
Ты напости, расскажи, верни...
Этот страх, такой давно привычный,
Ведь живут же всё-таки они.
Отвечают детям на вопросы,
Посылают женщинами цветы,

Грустно спорят, курят папиросы,
Всё-таки не то...

Требует. Стонет. Кричит. Зовёт.
Я ничего не слышу.
Гибнет, вы скажете, этот и тот...
Я ничего не слышу.
Вы не решили, Бог есть или нет,
Всё-таки утро настанет,
Неповторимый далекий рассвет...
Руки и розы. Признание.
Это крушение темных миров.
Я ничего не вижу.
Руки и розы. Стрелки часов...
Я никого не вижу.

Мимоза никогда не завянет.
Никогда не будет войны.
Нам снятся на этом диване
Странные сны.
И утром нас никто не разбудит,
Нам незачем рано вставать.
Мне снилось, что серые люди
Бежали куда-то опять...
Ты слышал в темноте совершенной
Холодный и грустный орган...
...И красное солнце над Сеной
Встает сквозь туман.

Мы возвращаемся в сонную тьму,
Господи, как мы устали...
Жизнь – это тысячу раз – почему?
В детстве, в обиде, в печали.
Ты уезжаешь, мой праздничный друг,
Как же не рушатся стены...
Жизнь – это тысячи тихих услуг,
Ради тишейшей измены.
Над океаном – вернись, назови —
Музыка тенью лежала...
Жизнь – это тысячи слов о любви,
Тысячи жалоб...

Всё не о том. Помолчи, подожди,
Месяцы. Память. Потери...
В городе нашем туманы, дожди,
В комнате узкие двери.
В городе... нет, это всё не о том.
В комнате... нет, помолчим, подождем.
Что же случилось?

Стало совсем на мгновенье светло
— Мы не для счастья живем —
Сквозь занавеску чернеет стекло,
Вспомнилось снова такое тепло.
Вспомнилось... нет, помолчим, подождем.

Ты меня поцеловала,
даже не сказав «прости».
В городе цветут каштаны...
значит, лучше им цвести.
В городе цветут каштаны,
наша комната тесна,
За окном прозрачны ночи...
значит, лучше, что весна.
Значит, лучше, что молчанье,
что вернулось, что тепло,
Что чудесно-невозможно
и мучительно-светло.

Со вчерашнего дня распустились в воде анемоны,
Очень много лиловых и красных больших анемон.
Мне приснилась любовь...
Почему оборвался мой сон?
Говорят, что весна — это время
счастливых влюбленных...
Что же делать тому, кто в свою неудачу влюблен?

Остановитесь — один только раз.
И поверьте, мне ни Ваших слов,
ни Вашей руки не надо.
Неужели Вы не остановитесь, для меня, никогда?
В марте рано светает. Кем-то тушится газ,
Просыпаются деревья единственного в мире сада,
Светлеет в Сене вода.
Мне не о чем Вас спросить.
Мне нечего Вам сказать о себе — и не надо.
Неужели март пройдет, как в прежние года?
Но если всё-таки Вы остановитесь здесь —
один только раз —
Я запомню дерево, что цветет у самой ограды,
И день, и час, навсегда.

Не верится — мы утомленные, бледные,
Живущие так без восторга...
А помнишь ли в детстве тяжелые, медные
И редкие листья каштана...
А помнишь ли в детстве глаза удивленные
И слезы совсем без причины...
Не верится — мы навсегда примиренные,

Так мудро, так тихо, так рано...

Кому нужны твои сомненья,
Твоя Мария, твой рассвет?
– О, совершенно никому...
Ты не герой, конечно, и не гений.
Ты любишь, ты поэт.
Тоскуешь. По чему?
О, эта боль плебейских вдохновений,
И слезы тихие взволнованных мещан.
– И эти лица так бледны...
Туман. Огни. Сиреневые тени.
Ее рука. Туман.
Кому они нужны?

Неузнаваемо небо молочно-зеленое,
Вечером город чужой и прозрачный такой...
Что это значит? – Пусть плачут
в разлуке влюбленные...
Это зовется молитвой, восторгом, тоской.
Что это значит? – Страстное и неумелое,
То, от чего в этой жизни не будет удач...
Дерево в чьем-то саду, неожиданно-белое,
Чей-то холодный и радостный голос: не плачь.

Если Вы не всегда без печали
За ущербной следили луной,
Если Вы не всегда молчали,
Если Вы не устали – не очень устали,
Побудьте немного со мной.
Равнодушной, внимательней, строже...
(И зачем, и о чем – до утра?)
Улыбнулся – не нам ли? – прохожий.
Мы, должно быть, на очень счастливых похожи...
До свиданья. Мне тоже пора.

Где-то заиграла шарманка
(Кажется, здесь шарманок нет),
Вывернуть бы душу наизнанку.
Пусть ее, скупую, видит свет...
Рассмеяться, закричать, сломать,
Оскорбить – но только не молчать.
От чего? От гордости несчастной.
Для чего? Для скучной чистоты.
И напрасно, навсегда напрасно,
Музыка из темноты.

Значит, мало такого молчанья,
Значит, мало мечты о страданье,

Значит, мало люблю и горжусь...
Только ночи июльской дыханье,
Равнодушие только и грусть.
Это всё. Только темные липы в цвету,
Только этот доверчивый взгляд в пустоту.
Только то, что во мне не оставит следа
Оттого, что забыть не смогу никогда.

От пустоты, парижской пустоты...
При чем тут осень, примиренье, слава?
И если даже все на свете правы,
А виновато, сердце, только ты,

То помни, помни чудное признание
Нетемного, неровного дождя...
При чем тут молодость, прозрачность, узнавание?
(Всё делается тихо и шутя.)
То помни, помни чудное... Рассвет.
Ты право, сердце, – грусти тоже нет.

Убитые стыдом. Смущенные несчастьем...
А осень в листьях, в небе, в голосах.
И каждый о другом, с злорадством и участием,
И каждый о себе... В стареющих сердцах
Злопамятность, и память о добре,
И благодарность солнцу в сентябре.

Неправда, что осенью грустно,
Совсем не грустней, чем весной.
Такой же холодный и солнечный день,
И та же борьба с тишиной,
И запах дождя, и (откуда?) сирень...
Неважно, что завтра случится со мной,
Неважно, что завтра случится со всеми...
Бывает беспечно-ненастное время,
Когда не жалеешь, что листья опали,
Что рано зажглись фонари.
...И в сумерках осени меньше печали,
Чем в свете весенней зари.

Учись и всё-таки не верь.
Узнай и всё-таки забудь.
Закрытую надолго дверь,
Спокойную – не долго – грудь.
Всё беспощадное, родное,
Что так печально любишь ты.
Как теплые зимой цветы,
Как это узкое, ночное,
Вдруг посиневшее окно...

Вернись... и всё-таки пойми
Всё, что усталыми людьми
Осмеяно и прощено.

И всё равно от слова или звука,
От правды или только от любви,
Судьбу свою печальной не зови,
Пусть это не страдание, а мука...
Холодное, далекое, лови.
И верь без умысла, и верь без сожаленья
(О, как расчетливы обиды и сомненья)
– Холодной и прозрачной темноты
Не бойся. Этот призрак – ты.

Что, если всё в тебе – мятежность и покой,
И то, о чем совсем не надо слов...
Что, если ты, измученный такой,
Опять простить (в который раз?) готов.
Не надо пить вина,
В нем тоже правды нет.
Так лучше. Ключ к сердцам умышленно затерян.
Так лучше. Тишина
И зябкий лунный свет,
Который, как и ты, изменчив, грустен, верен.

От возможных друзей, от возможных обид,
От возможного, всё-таки, полупризнанья,
От возможного счастья так сердце болит...
– До свиданья.
Проезжали игрушечный мост над рекой,
И откуда, откуда он взялся такой
В этом городе грустно-знакомом?
От возможных ошибок... Пожалуй, не надо.
И опять, и надолго молчанье.
Слишком рано закрылась калиточка сада
Перед тоже как будто приснившимся домом.
– До свиданья.
И вернулось голубое, лунное,
Потушило солнца красный свет.
И любовь вернулась однострунная
(Та любовь, в которой счастья нет).
Мы с тобой живем полузастенчиво,
Провожаем с грустью каждый день.
Любим город наш туманный и изменчивый,
И стихи, и позднюю сирень.
Есть другое, темное, влюбленное,
Я о нем давно не говорю.
И опять: усталые и сонные...

И опять: за всё благодарю...

Как много еще непрочитанных книг,
Как много людей привлекательно-новых.
И как этот город прозрачно-велик
(Прозрачнее всех городов).
Но только – от этих тюльпанов лиловых,
От сумерек белых усталого дня,
От верности тем, кто не знает меня,
От смутных предчувствий и снов...
От правды, которой нельзя повторять,
От этого вот ясновиденья скуки...
Так жалко опущены сильные руки,
И нечего, нечего делать опять.

Еще осталось в жизни суховатой
Немного правды и немного скуки.
И то, в чем мы по-детски виноваты,
Наказаны и прощены...
Еще остались в этой жизни сны
(Мне часто снятся ласковые руки...)
Так постепенно, грустно-неизбежно
Открылся мир – жалеющий и жалкий...
И только пахнут гниловато-нежно
Уснувшие, от теплоты, фиалки.

Не та любовь, конец которой счастье,
И не тоска, конец которой сон...
Но равнодушие, но холод беспристрастия,
Но сумеречный свет от трех окон.
Скорей бы наступила темнота...
(А в ней к утру распустятся каштаны.)
Зачем мы поняли – так грустно и так рано,
Зачем мы поняли – не та любовь, не та,
И боль не та, которой смерть конец...
Но равнодушие нетронутых сердец,
И что-то в них, чему и я поверю,
Всё потеряв – и пережив потерю.

Не надо трогать слово «благодарность»,
Ведь лучшего на свете не найти.
– В большом кафе, рассветном и угарном,
Остались те, кто позабыл уйти.
И оттого, что мне их жаль немного,
И оттого, что я не лучше их,
Такое слово стало стыдно трогать...

О заблудившейся любви,
Без воплощенья, без слиянья...

В которой даже нет страдания
И права на него.
Что перед ней слова твои,
И злобные, и дорогие,
Но так случайно не другие?
– Не значат ничего.
Я буду ждать, чтоб всё сгорело,
И в пепле, в сумерках, в дожде
Пойму, зачем, и в чем, и где
Мое печальнейшее дело.

Так гасят елочные свечи,
Так укорачивают встречи,
Перестают любить.
Так видят: листья все опали
И солнца больше нет.
Так расстаются без печали
И продолжают жить.
Так покоряют сердце скуке,
Так – в жизни исчезают звуки
И проникает свет.

Рассветы *Париж, 1937*

*...И беспощадно бел, неумолимо светел,
День занимается в полоске ледяной.*

Г. Адамович

Я замечаю в первый раз:
Луна плывет над облаками,
Как тень медузы под волной,
Как взгляд опустошенных глаз,
Как слово, сказанное нами,
Потушенное тишиной...
Уже давно из-за угла
Нас сторожит рассвет осенний.
Тень горя – как другие тени —
Не есть, а будет и была.
Всё возникает только в боли,
Всё воплощается в тоске —
И тает от дождя опять...
Неуловимость нашей доли:
Как легкий холодок в руке,
Которой нечего поднять.

Господи, откуда эта
Щедрость зимнего рассвета?
Столько неба голубого...
Не найти настоящего слова
В оправданье скитанья такого,
В оправданье такой пустоты.
Сердце, сердце, как же ты
Не устало ждать ответа?
(Верность – грустная примета.)

Только с Вами. Только шепотом,
В удивленной тишине,
Поделюсь неполным опытом,
Памятным, понятным мне...
Гордым опытом бездомности,
Стыдным опытом любви,
Восхищенною нескромностью
И смирением в крови. —
– Из светлеющей огромности
Лета в городе пустом
Две дороги: в смерть и в дом.

Холодно. Тоска бездетная
Вновь протягивает руку
Под октябрьским, под дождем...
А цыганское, рассветное
Предвещает ту разлуку,
Для которой все живем.

Дружба – отражение одиночества,
Выдумка, герой которой Вы,
Исполнение смутного пророчества,
Отблеск недоступной синевы.
А любовь – бесполоая, безгласная —
Слабый след рассветного луча...
Что за этим? Неизбежно-ясная
Смерть Ивана Ильича.

Я признаю, что побеждает смех,
И всё-таки смеяться не хочу.
Я всё ценю – и ласку, и успех —
И всё-таки горячему лучу
Предпочитаю осень, дождь, закат.
Я сознаю: никто не виноват.
Слезам своим не верю. Отчего ж
Сознание и чувство раздвоилось —
И ложь нужна, необходима ложь,
Чтоб сердце от сочувствия забилося.

Это похоже почти на сознание,
Это похоже почти на признание
В том, что обидой взволнована кровь.
Может быть, это измена случайная,
Может быть, радость, мучительно-тайная,
Может быть это – любовь.
Знаю – не зная. Люблю – не любя.
Помню – не помня тебя,
Солнце холодное, счастье во сне,
Белое небо в высоком окне...
Может быть, то, что волнует, – рождение
Нового горя во мне.
Может быть, только опять отражение
Этой последней, скучающей ясности,
Этой надменно-покорной безгласности —
Верности Вам в тишине.

Всё осталось невозможным,
Вечно-памятным, печально-голубым,
В этой жизни праведной и ложной —
Благодарно-горестным таким...
В недоступности своей несложной

Сердце оставалось осторожным,
Сердце оставалось молодым.
Только слушало, в несмелом восхищеньи,
Голос Ваш, надменный и родной.
Не любовь – а только тень от тени
Той, что называется земной...

По ком, по ком ты слезы проливаешь...

По ком, по ком... Сама не понимаю
(Все имена не значат ничего).
Зачем, зачем понадобилась маю
Сухая гибель сердца моего?
Не будет слез, как в песне той любимой,
Не будет слез, ни песни, ни заботы,
Ни зависти, такой невыносимой,
К тому, кто хочет и кто ждет чего-то.
Не будет страха. Ничего. Никак.
По-разному бывает. Можно так.

Жизнь, которой – всё не понимая —
Столько лет задумчиво живем,
В этот вечер ландышей и мая,
В чутком одиночестве вдвоем,
Чувствую – всем нелюбимым телом,
Всем – в плену у совести – умом,
Сердцем непокорным и несмелым
Жизнь, которой всё-таки живем
(Хочется назвать ее любимой),
Вот она: в моем сопротивленьи
Бестелесной теплоте сближенья...
А слова всегда неповторимы
И всегда, печально, не о том.

Любовь, похожая на жалость,
И жалость в облике любви...
Невоплощенная усталость,
Необъяснимый жар в крови.
Так начинается сближенье,
То, за которым – ничего.
(Неповторимость, повторенье...)
Не лучше ль в лунном отдаленьи,
С вершины горя своего,
С вершины нежности бесслезной,
Когда-нибудь, в неясный час,
Подумать, наконец, серьезно
Вам обо мне – и мне о Вас.

Обиды обессиливают горе.
Не оттого ль нам ревность дорога?

Смотрите: солнце опустилось в море
И сразу отдалились берега.
Пустое небо жалко побелело.
Невыносимы сумерки опять.
А близость наша... Не могу понять,
Но смутно знаю, что не в этом дело.

Радость проснулась – такой незначительной,
Осень вернулась – такой удивительной
В новой прозрачности дней...
Боль обернулась таким равнодушием,
Мы уж давно замолчали и слушаем,
Многое стало ясней.
Значит ли это, что мы постарели?
В тысячный раз раскачались качели,
В тысячный раз – недолет.
В тысячный раз, безнадежно-свободное
Сердце осеннее...
Солнце холодное
Снова над миром встает.

«Над узкой улицей серея...»

Л. Кельберину

Над узкой улицей серея,
Встает, в который раз, рассвет.
Живем, как будто не старея,
Умрем – узнают из газет.
Не всё ль равно? Бессмертья нет.
Есть зачарованность разлуки
(Похоже на любовь во сне),
Откуда ты протянешь руки,
Уже не помня обо мне.

Ноябрь. Рассвет, похожий на весенний,
А на земле коричневые листья.
От светлых слов и от неясных мнений,
От безразличия и бескорыстья —
Такая утомленность и досада...
– Как долго мы стояли возле сада.
Последний школьник скрылся за углом,
Цветочница за маленьким лотком,
С огромными, печальными цветами,
Застыла, спрятав руки под передник...
Как всё же трудно расставаться с Вами
И как легко не встретиться потом,

Мой удивительный, мой жалкий собеседник.

Хочется блоковской, щедрой напевности
(Тоже рожденной тоской),
Да, и любви, и разлуки, и ревности,
Слез, от которых покой.
Хочется верности, денег, величия,
Попросту – жизни самой.
От бесприютности, от безразличия
Тянет в чужую Россию – домой...
Лучше? Не знаю. Но будет иначе —
Многим беднее, многим богаче
И холоднее зимой.

Всё по-весеннему случайно...
Спим для того, чтоб видеть сны.
Мы связаны скучнейшей тайной
И в ней навек разлучены.
Учились жизни терпеливо,
А научились жить мечтой.
Сказать ли Вам, что Вы красивы?
Но *что* нам делать с красотой...
Мир неизжитых вдохновений,
Быт углубленной нищеты...
Сказать ли Вам, что наши тени
Опять скрестились на мгновенье
На полувздохе, полуслоге
На чуть белеющей дороге
В небытие – из пустоты.

Уже печально жить свободно,
Уже могу кого угодно
И как угодно полюбить.
Скучает сердце – неужели
Его так трудно удивить?
В невоплотившемся апреле
Земля невидимо цветет.
Не в этот вечер, и не в тот,
И не в конце другой недели —
Счастливым станет ожиданье.
Но Вы скажите, ты скажи...
Иль только в зреющем молчанье
Еще возможно сочетанье
Высокой честности и лжи?

«Не согласны. Ни за что...»

Борису Поплавскому

Не согласны. Ни за что.
Так темно и вдохновенно,
Традиционно, современно
Жить как все – и как никто.
Поздно. Всё проходит мимо.
В жизни, наконец, любимой
Больше места нет.
В той, что выдумана нами,
Мы бессонными ночами
Сторожим рассвет.
Ждем не чуда – а прощенья,
Не любви – а удивленья,
Терпеливо, до утра...
Не согласны. Всем пора.
Вдохновенный обыватель,
Целомудренный мечтатель,
Мы пойдем навстречу маю,
Вызывая птичий смех.
Ничего не принимая,
Принимая всё – за всех.

От солнца, от силы – свободы...
Свободы, влекущей куда?
Высокие, пыльные годы,
Как в летние дни города.
Как в час непечальной разлуки,
Напрасно-тревожный вокзал...
Но от вдохновенья, от скуки
Кто сердцем еще не устал?
У моря – нежнейшего в мире,
В пустеющей, летней квартире
Кому не хотелось зимы?
Свобода – соленое слово.
Но что, если сердце готово
Для жизни уютно-суровой
(Какой – безразлично) тюрьмы.

Людам с карими глазами
– Теплыми глазами юга, —
Людам с близкими мечтами
Не дано любить друг друга.
Полон юмора, испуга
И упрека каждый взгляд...

За невольное молчанье,
Память без воспоминанья —
Лучшая из всех наград.
Впрочем, и об этом с Вами
– Даже лунными ночами —
Никогда не говорят.

На таком высоком юге
Можно помнить друг о друге
Только памятью ночной...
С высоты такого горя —
Близость городского моря,
Покоренного луной.
Робкий запах олеандра,
Охраняющий веранды.
Всё – как памятник во сне.
Сердце снова замолчало...
Почему не страшно мне?
«Только верность», – прозвучало
В озаренной тишине.

Совесть – что это такое?
Только память о вине.
Мы обвенчаны тоскою,
Мертвой в Вас, живой во мне.
Верность нашей дружбе трудной,
Сложность нашей жизни скудной
Огорченно берегу,
Сквозь любовь и безразличье,
Как печальное величье
Пальм на пыльном берегу.
Далеко бежит дорога,
Покидая грустный юг.
Я опять ищу предлога,
Чтобы дальше жить, мой друг.
В недоступности покоя,
В трезвости и в тишине...
Счастье – что это такое?
Жизнь в плену и смерть во сне.

«...Но так похоже на блаженство...»

...Но так похоже на блаженство.

М. Кузмин

В непреднамеренном счастье вдвоем

Жили коротким, сегодняшним днем.
Помните?

– Кактусы спят за окном,
А на рояле, в квартире соседней,
Кто-то играет, наивно и четко...
Помните?

– Медленно движется лодка,
Вечер – нельзя было знать, что последний, —
В августе и тишине...

Мы не искали ни в чем совершенства,
Жили на грани тоски и блаженства —
И улыбались во сне.

Жизнь не похожа на мечты,
Жизнь не похожа на желанное —
Всегда на грани пустоты,
От слез и от дождей туманная...

Она похожа иногда,
В послелюбовные года,
На обещание, ей данное.

Осень – не осень. Весна – не весна.
Пропусту полдень зимой...
Как Вы проснулись от позднего сна,
Друг непрощающий мой?
Трезвая совесть. И нет сожаленья.
Вам не понять моего удивленья.
Мне беззаконность дается не даром.
В жизни моей, ни на что не похожей,
Только свобода и боль.
Можно гулять по прозрачным бульварам,
Где покупает газету прохожий
(В Англии умер король).
Можно, конечно, вернуться домой...
Друг непростительный мой.

Мне нечем с тобой поделиться,
Мой очень задумчивый друг.
Боюсь, что в глазах отразится
Обидно-холодный испуг.
Доверчиво новую повесть
Хотелось тебе рассказать...
Твою огорченную совесть
Мне нечем утешить опять.
Люблю, как любили когда-то,
И только в любви виновата,
И только любовью права...
...Светает – сию угловато,
И слушаю Ваши слова.

В ясности – очень неточной,
В нежности – очень порочной
Тоже спасения нет.
Дверь открывают в молочной,
Поздний, январский рассвет.
В радости, странно-бессрочной,
Я не читаю газет,
Днем никогда не гуляю,
Писем давно не пишу.
Зла никому не желаю
И ни о чем не прошу.
Выдумав горе такое,
Трудно справляюсь с тоскою,
Трудно умею любить...
Память, как мост над рекою, —
– Сердце мое городское
Хочет по-своему жить.

Верните мне всю тишину печали,
Мне без нее не справиться с тоской.
Как тяжело Вы иногда молчали,
В задумчивости медленной такой...
Мы возвращались (было по дороге),
День начинался в городских домах —
Как долго длились Ваши монологи...
Верните мне всю теплоту тревоги,
Ту, от которой замирает страх.

Слушай, горе: мне с тобою
И привычней, и теплей.
Не мири меня с судьбою,
Не учи и не жалеи.
Подожди со мной рассвета,
Тихо проводи домой...
Всё-таки душа согрета
Болью о себе самой.
Странное начало лета.
За густой листвой каштана
Зреют смуглые плоды,
От рассветного тумана
Веет свежестью воды...
Кажется, что близко море,
Кажется, что счастье есть, —
Ничего не нужно, горе,
Если всё печаль и лесь.
Мы идем плечом к плечу,
Ты поешь – а я молчу.

Признаю, по-старому – и снова

(Только Вы не слышите сейчас):
Я люблю другое и другого,
Оттого что сердце любит Вас.
Я люблю старинные флаконы,
Кактусы, камин и ковры,
Строгой математики законы
И законы карточной игры.
В ресторанах – темные гитары,
В праздники – нарядные бульвары.
И еще: железные дороги,
Рельсы, убегающие вдаль...
Всё наследство счастья и тревоги,
То, чего не стыдно и не жаль.

Оттого, что было много
До утра не доживавших роз,
Оттого, что в городе тревога,
От сочувствия июльских гроз —
Будет память – и не будет слез.
Оттого, что, солнца не дождавшись,
Пожелтели листья под дождем,
Оттого, что мы, не попрощавшись,
До зимы в разлуке проживем —
Будет стыдно – и светло потом.
Оттого, что было ожиданье
Не бездумным в сумеречный час —
Будет ложь и правда о страданье,
Будет *наше* – но не будет нас.

«Жизнь права как будто. До свиданья...»

А. Штейгеру

Жизнь права как будто. До свиданья.
Ухожу, не думая – куда.
Не хочу высокого страданья,
Не хочу веселого труда.
Ухожу. И уношу с собою
Тишину деревьев за окном,
Небо – ночью странно голубое,
Небо Ниццы. Память обо всём.
Верность, возвращенную судьбою.

Всё помню – без воспоминаний,
И в этом счастье пустоты,
Март осторожный, грустный, ранний,
Меня поддерживаешь ты.

Я не люблю. Но отчего же
Так бьется сердце, не любя?
Читаю тихо, про себя:
«Онегин, я тогда моложе,
Я лучше, кажется...»
Едва ли,
Едва ли лучше, до – печали,
До – гордости, до – униженья,
До – нелюбви к своим слезам...
До – пониманья, до – прощенья,
До – верности, Онегин, Вам.

Я мечтаю часами, как дети
Сиротливые в доме богатом,
Быть танцовщицей в кордебалете,
Быть рабом, коммунистом, солдатом,
Бурым гномом из северной сказки,
Незаметным в счастливой развязке,
Молчаливой гаремной женой,
Не имеющей «имени-отчества»...
...Возвращаются с новой весной
Молодые мечты одиночества.

Ни одного настоящего слова —
Значит, нельзя, и не надо такого.
Всё говорится цинично и нежно.
Очень трагично. Очень небрежно.
Не лицемерие, не безразличие,
Кажется, только простое приличие.
Да и при чем здесь рассветная грусть?
Ни одного настоящего... пусть —
Тоже взаимность. Не в счастье, а в горе.
Та, о которой молчат в разговоре.

Не стоит уезжать и возвращаться,
Не стоит на вокзале целоваться
И плакать у вагонного окна.
Не стоит...
Надоело притворяться:
Бессильны деньги, и любовь скучна,
Хотя и грустно в этом признаваться.
Как малодушно слушаться советов...
Жизнь ошибается – судьба всегда права.
И от всего кружится голова
В тревожности и нежности рассветов.

Возвращаюсь домой на рассвете,
Опустел и потух Монпарнас.
В этом городе, в этот же час,

Умирают. Рождаются дети.
Засыпают подруги и жены.
И, грустя, вспоминает влюбленный
О цыганах, о ней и о нас...
Вот цветы у дверей ресторана —
— Уронили, не вспомнив потом, —
Выбирали любовно, вдвоем,
Обещали хранить постоянно.
Очень странно. Особенно странно
То, что в странности прочно живем.

«Одно осталось: удивление...»

Георгию Адамовичу

Одно осталось: удивление —
Без унижительных желаний,
Без утомительной мечты.
Неубедительную тенью
Встает рассвет, бесцельно-ранний,
Не побеждая темноты.
А карту бьет упорно карта...
Уйти домой — но как заснуть?
Куда уходят ночи марта,
Которых сердцем жаль чуть-чуть...
(Безропотно и безлюбовно.)
Свобода... как это условно.
Один — и очень узкий — путь.

Двенадцать месяцев *Париж, «Рифма», 1956*

Нет, не тебе, конечно, не тебе
я посвящаю
слова о чувствах, слезы о себе
и мысли понемногу обо всём...
Но если, друг, когда-нибудь потом
ты, перелистывая медленно страницы,
задержишься на них опять
(где буду я? кто это может знать —
возможно, что на улицах столицы другого мира...),
ты поймешь тогда,
что мне давалось всё не вдохновеньем мнимым,
а твердым, как закон, чередованием
невыносимой боли и труда.
Поймешь и то, что значит быть любимым,
и то, что с каждым новым расставаньем
правдивей, суше слово «навсегда»...
Тому, кто целый мир любил в одном лице
и в целом мире только одного,
кто верил в справедливость, но кого
не покидали мысли о конце, —
далеким в жизни, близким по судьбе
я посвящаю...
но не тебе, конечно, не тебе.

Январь

А. С. Б.

Когда-то были: мы – и бедняки
(о них писали скучные поэты).
Мы – и больные. Мы – и старики,
любившие давать советы.
Когда-то были воля – и тюрьма:
мы, жившие по праву на свободе, —
преступники, сидевшие в тюрьме...
Когда-то были лето – и зима...
Смешалось всё давным-давно в природе,
сместилось в жизни, спуталось в уме.
Не разобрать, кто молод, кто богат,
кто перед кем и кто в чем виноват,
и вообще, что значит *преступление*?
Когда-то были родина, семья,

враги (или союзники), друзья...
Теперь остались только ты и я —
но у тебя и в этом есть сомнение.

День в сумерки, как оттиск бледный
с любого дня любой зимы
в стране, где вместе жили мы.
На горизонте отблеск медный
сухого солнца января,
а ближе, над домами, тень.
Мерцает поздняя заря...
Мир невесомый, чистый, бедный
вновь воскресил, сгорая, день...
Смягчило время контур строгий,
потухли краски с той поры...
Но нет стыда и нет тревоги,
как в прошлом не было игры.
Мы не заметили начала,
не будем подводить итог...
Развязку жизнь нам подсказала,
но кто ее предвидеть мог?

С Новым годом — и прощай до срока.
Что с того, что нам не по пути...
Каждая удача одинока,
как моя любовь к тебе. Прости.
От стола на золотом паркете
словно тень огромного кольца.
Каждый раз, когда на этом свете
бьются в общей радости сердца,
ты еще дороже мне. И ближе
даже то, что разделило нас.
Странно сознавать, что ты в Париже,
той же ночью, в тот же час
слышишь тот же голос из эфира:
С Новым годом... Тонкий бой часов...
И далеким благовестом мира —
звон цимбальный, еле уловимый,
страсбургских колоколов.
С новым счастьем, друг любимый.

Я помню о тебе, Татьяна...
Во мне еще жива любовь.
Но, как за чтением романа,
тревожна мысль, спокойна кровь.
Я разуверилась во многом,
скупее слезы и слова —
что это: гибель, благодать?
Теперь, когда над эпилогом

уже склонилась голова,
чего еще от жизни ждать...
Скажи, какого откровенья,
каких мучительных побед?
Любви бесплодны вдохновенья.
От них остался темный след:
жуть суеверий, снов, гаданий
да ворох писем и бумаг...
И яд мечты о том свиданьи,
когда скажу спокойно я:
Прощай, мой друг. Прости, мой враг.
Сегодня очередь моя.

Мы больше ни о чем не говорим.
Нам безразлично всё и жалко всех.
От жалости мы часто лжем другим
(утешить этих, не обидеть тех —
какой же грех?).
От безразличия мы лжем себе:
нет правды в мире, смысла нет в борьбе —
о чем же спор?
Спор о любви. Той, что для всех одна.
Той, что боролась с нами за свободу.
Как можно жить, когда идет она
в слезах, в лохмотьях, ночью, в непогоду
на горе и позор...
Луч солнца из тюремного окна,
твой поднятый навстречу солнцу взор,
чуть дрогнувшая на плече рука —
совсем не бред...
и далеко не вздор
страх одиночества и смертная тоска
по тем, с кем оборвался разговор.

Будьте вежливы с цветами,
с насекомыми, с мечтами,
с книгой, со сковородой,
с музыкой, машиной.
Будьте вежливы с водой,
с горною вершиной.
С лампой, звездами, луной...
Будьте вежливы с женой,
с кошкой, с проституткой...
Будьте осторожны с шуткой.
Равнодушные к судьбе,
будьте вежливы в борьбе
за существование...
Будьте сдержанны: прощанье
с тем, кто тяготится вами,

только повод к раздражению.
Будьте вежливы с цветами:
с розой, ландышем, сиренью.

Февраль

Иди, мой друг. Господь с тобою.
Прости. Иди своим путем.
Я с несговорчивой судьбою
останусь. Долго ли теперь...
Мелькнуло небо голубое
улыбкою перед дождем
и скрылось...
Мне не счесть потерь.
Не счесть надежд и вдохновений,
непостоянных, как февраль,
стыдливых, как прикосновение,
как слезы тех, кого не жаль.
Кто их узнает, эти складки
морщин у светлых глаз твоих?
Иди без страха, без оглядки
(дождь притаился и затих).
Разлука будет вечно длиться.
Но вечность не страшнее дня,
в котором нечему случиться...
Прости. Я научусь молиться
за тех, кто не любил меня.

Защищенность комнаты ночной
– с улицы глухое грохотанье —
это жизнь, а за твоей стеной
смертников бессильное метанье.
В темноте как будто пульсом бьется
мысль без слов – она слышна в тиши.
Суть твоей, такой живой души,
кажется, мечтанием зовется.
Ты ведешь с собою разговор
иногда часами, до рассвета...
В отражение деревянных штор
чередуются полоска света
с очень ровною полоской тени.
В полном одиночестве своем,
чуждый всем – ты близок мне во всём,
где надежды нет и нет сомнений.

С непостижимой уму быстротой
в памяти стерлись война и победа.

Стихла тревога, заглохли восторги...
В Англии умер Георгий Шестой,
добрый Георгий.
Завтра хоронят монарха (и деда,
мужа и сына, брата, отца).
Завтра взойдет на престол королева
Елизавета...
Это история – нет в ней конца.
На фотографии, первая слева,
женщина в трауре. В скромной печали,
в будничной, вдовьей, покорной тоске.
Еле сквозит из-под черной вуали
профиль еще молодого лица...
А под перчаткой, на полной руке
два обручальных кольца.

Если это последние слезы,
если это прощальная весть,
значит то, что любили мы, всё-таки есть.
На камине осыпались чайные розы
грудой мягких, живых лепестков...
А напротив, в отеле, за каждым окном
обрывается счастьем коротким и сном
суета и тоска бедняков.
Если можно простить, умирая,
если сердце щадит нищета,
значит то, чему верили мы, не мечта,
не обман, а сложнейшая правда – такая,
о которой по-своему помнит поэт.
Одинокий фонарь, как луна среди туч,
и сквозь шторы потертые падает луч
на прозрачный, как призрак, букет.

Кладбища... дороги... океаны...
Из портов исчезли корабли,
скрылись в облаках аэропланы,
и в чужие города и страны поезда ушли.
Сколько хоронили, провожали,
сколько было памятных утрат...
Сколько раз сливались с небом дали
и бледнел закат.
Но когда я расстаюсь с тобою
– сколько было этих вечеров, —
я с тоской прислушиваюсь к бою
башенных часов.
Каждый раз от страха расставанья
– и откуда этот страх возник —
вместо слов, простейших слов признанья,
вырывается со дна сознания

только жалкий крик.

Эти слова относились ко мне,
может быть даже к тебе относились.
Мысли – и, кажется, чувства – двоились,
небо светлело в широком окне...
И говорила о нашей судьбе
шепотом быстрым цыганка, гадая.
Что она знает? Совсем молодая,
в огненном платье, с наивным лицом...
Хлопоты, деньги, дороги, разлуки.
Бубны. Казенный (к чему это) дом.
Черная дама – как сердце забилося...
Карты тасуют красивые руки.
Счастье? Мелькнуло в колоде и скрылось
под злополучным тузом.
Эти слова и ко мне относились,

может быть, не до конца, не вполне...
Эти слова относились к тебе.
Мы не заметили и покорились
каждый своей одинокой судьбе.

Март

Неясным полон обещаьем
густой и белый воздух марта.
Не поздно ли? Жизнь пролетела
между сближеньем и прощаньем.
А было дело. Много дела
в стране Паскаля и Декарта.
В стране горячих начинаний
и совершенного ума,
где на померкшем камне зданий
неизгладимые годами
для всех заветные слова:
Свобода, Равенство и Братство.
Такое сложное богатство
так щедро было нам дано.
А мы по-своему живем,
живем с закрытыми глазами,
не видя скромной красоты.
И по-сектантски бережем
неисполнимые мечты —
о чем?..

Те, которых не осудят,

но кто долго ждет суда.
Те, кого под утро будят
мартовские холода.
Те, кто убивает время —
— за минутами года, —
оттого что не хватает
краткой жизни на земле.
Те, кто сеет правды семя,
привыкая жить во зле.
Кто взаимности не знает
и, прощая все измены,
грустно любит — за двоих.
Кто не помнит перемены
и годами видит то же
небо, левый берег Сены...
Те, кто кажется моложе
современников своих,
но которых в белом зале
ждет за ширмою кровать...
Те, которым на вокзале
стыдно счастья пожелать.

Вечером весенним и морозным
почему-то призрачным и грозным
показался Северный вокзал.
Каждый на прощание сказал
то, что полагается сказать,
что исчезнет с дымом паровозным.
Возникали в памяти опять
все полузабытые приметы.
Страшными казались все предметы
в мутном свете пестрых фонарей.
И хотелось всем, чтобы скорей
наступил конец...
Что-то дрогнуло в другом конце перрона.
Легкий треск закрывшихся дверей
и в тумане из окон вагона
пятна лиц, платков, улыбок, рук...
Поезд тронулся лениво, еле-еле,
под знакомый монотонный стук.
И казалось, что в железном теле
бьется сердце всех земных разлук,
всех переселений, всех изгнаний,
всех отъездов — навсегда, на срок.
Оборвав взволнованный поток
просьб, невыполнимых обещаний,
резко, близко прозвучал свисток.
Вот оно: конец.

Я жду тебя – я чуда жду.
Я, словно обновляясь в боли,
живу в отчетливом бреду,
где много памяти и воли.
Где столько вечеров свободных
и суеты в дневных делах...
В итоге всех тревог бесплодных
всё тот же нестерпимый страх
разлуки новой, возвращенья —
вся мука близости непрочной.
Как верен горю человек,
как страстно ищет воплощенья
любовь поэтов и калек...
Но платонически-порочной
она останется навек.

«На кладбище уже почти весна...»

Памяти Д. Л. Гликберга

На кладбище уже почти весна,
а на земле у вырытой могилы
лежат венки из жарких зимних роз,
и странная – как ночью – тишина.
Мы, отзываясь на чужое горе,
хороним мир отцов, родной и милый,
доверчиво не сдерживая слез.
О чем же было волноваться, споря,
к чему стремиться столько долгих лет,
когда так ясно: смысла жизни нет,
как нету смысла воздуха и моря.
Есть времени законное течение.
Есть смерть-разлука. Замкнутость могил.
И есть непостижимость воскресенья
даже для тех, кто верит и любил.

Что в том, что мне бывало тяжело
всю жизнь любить и ждать всю жизнь признанья...
Пусть счастья не было – но счастье быть могло.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.